

Задать вопрос и предвидеть скорый ответ: все дело в таланте автора. Да, и все же... Испытывающий же ответ на этот вопрос мне, однако, неведом.

ДУМАЕТСЯ, недаром мудрые люди придумали в свое время разделение литературы по жанрам. И хотя нынче, как никогда прежде, жанры эти становятся неопределенными, размытыми, подверженными взаимодиффузии и смешению, все-таки жанровые законы остаются в силе, безнаказанно преступать их нельзя. Опыт деревенской и военной прозы, опыт наших лучших мастеров литературы красноречиво подтверждает это. То, что свойственно повести, не очень подходяще роману. Роман может то, что не по силам повести. У рассказа одни задачи, а у очерка — совсем другие. По остроте познания жизни, быта, экономических, нравственных и иных проблем очерк продемонстрировал свои блестящие возможности, связанные нынче прежде всего с именами И. Васильева, Ю. Черниченко, А. Стреляного и других. Вот уж действительно чьи очерки можно класть на стол Госплана, пусть потопте. Без преувеличения можно сказать: потеть ему в этом случае придется долго и много, потому что проблемы, поднимаемые в них, нештутейные, и разработаны они, как правило, глубоко и остро. Авторам повестей трудно за ними угнаться. Тем более авторам романов, хотя литература время от времени становится свидетельницей такого рода попыток, когда некоторые из романистов целиком посвящают свое дитящее какой-либо хозяйственной, экономической или даже технической проблеме. Это так называемый производственный роман. Я не могу вспомнить сколько-нибудь значительных удач в этом направлении. Очевидно, в наш сложный, бурно развивающийся век, век НТР, многие проблемы и экономические искания устаревают раньше, чем найдут свое воплощение в романах, которые, как известно, не скоро пишутся и еще медленнее издаются.

ВОЕННАЯ часть «Плотины» В. Семина, как и предыдущий его роман «Нагрудный знак «ОСТ», написана почти в документальном жанре. В. Семин рассказал о вещах, о которых литература, по сути, еще не говорила. И сделал это на предельной честности, с предельной откровенностью, что, впрочем, было всегда свойственно его творчеству. Сегодня, когда Виталия Семина нет среди нас, читая эти военные страницы незавершенного романа, с особой остротой и болью воспринимаешь исповедь героя, непокоренного, несломленного фашистской каторгой, страшными, жестокими обстоятельствами жизни, героя, который повторил немилосердную судьбу автора — узника гитлеровского арбайтлагеря.

«Мы не от старости умрем, — от старых ран умрем». Скорбным провидением звучат эти строки С. Гудзенко и по отношению к В. Семину, к его ранам (прежде всего, конечно, душевным), которые, видимо, так никогда и не зажили.

В ноябрьском номере «Нового мира» увидела свет вторая часть «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина, которые пошли в народ, переживший вражескую осаду Ленинграда, и взяли свидетельства у тех, кто еще мог их представить. Это очень тяжелый материал, и в нем Адамович и Гранин обнару-

зности и осмыслении сурового лихолетья минувшей войны, новый угол зрения на нее, и будет обнаружено еще нетронутые, какие-то неизведанные, неразработанные пласты. Как нашлось это у В. Кондратьева, неожиданно, почти сорок лет спустя, однако оно не умерло в его памяти и дало блестящую повесть «Сашка» и другие вещи.

Уверен, в военной прозе появится еще немало нового не только по фактажу, но, главное, по концепции. Если попробовать немного попрогнозировать — хотя предугадать кто может? — то это, по моему, углубленный психологизм, на пути которого следует ожидать какие-то новые повороты в военной теме. Есть и у меня кое-какие замыслы, хотя я и не знаю, насколько удастся их воплотить. Во всяком случае, хотелось бы, если не в развитие, то в дополнение к уже написанному кое-что сделать.

НЕ ОДНАЖДЫ приходилось слышать от коллег — прозаиков и поэтов, что отзывы критиков, рекомендации и советы, содержащиеся в рецензиях, их мало занимают,

ВСЯКИЙ РАЗ, когда решаю отдать рукопись для публикации, вспоминаю о Твардовском. Конечно, я люблю его как поэта, автора уникальной книги про бойца, но для меня он очень много значил и как огромная, яркая личность. В бытность его в «Новом мире» увидели свет три мои вещи. Никогда не забуду (я писал уже об этом), как в период горестных уныний, вызванных резкой критикой, которая обрушилась на меня, пришел из Москвы в канун майских праздников небольшой конверт с журнальным грифом и поздравительной открыткой внутри — редакционное послание автору, несколько напечатанных на машинке строчек с выражением приветия, а ниже характерным угловатым почерком было дописано: «Все минется, а правда останется. А. Твардовский».

Потом были многие не менее мудрые и прекрасные его слова в письмах, были разговоры, критические и одобрительные, но именно те первые четыре слова поддержки на всю жизнь запали в мое сознание. Наверно, это потому, что они исторглись из самых чутких глубин души человека, кто, может, не менее других нуждался в подобных словах и, может быть, недополучил их при жизни. Это последнее осознаешь с тем большей горечью, что, наверное, все мы, в свое время обласканные им, чего-то недодали ему самому, по беззаботности или по недомыслию полагая, что у Александра Трифоновича в добром слове недостатка не бывает. А как нет? Что же тогда может извинить нам эту непростительную нашу нечуткость?

Единственно в какой-то мере может возместить ее наше искреннее слово о нем, как это сделал в свое время с помощью телеэкрана К. Симонов, как это делает А. Кондратович. Его книга об Александре Твардовском — это удивительный сплав уважения и понимания замечательной личности человека и художника.

ВЕЛИКОЕ дело — человеческое общение хотя бы как средство познания, затем взаимопонимания, а может быть, и сближения. В годы войны мы видели немцев только на поле боя, в прицеле оружия или в качестве пленных и всегда — в облике наших врагов. Тогда понять их мотивы, логику их поступков было непросто, если не совсем невозможно — фашизм разделил наши народы, казалось, навеки непреодолимым воям вражды и ненависти. Но вот случилось так, что спустя четыре десятилетия, в ноябре минувшего года, мы, группа советских писателей, общаемся с немцами из ФРГ на их древней земле — с новыми, родившимися после разгрома фашизма, и с теми, кто в свое время вольно или невольно послужил ему. В новых исторических условиях рождается взаимопонимание, продиктованное прежде всего искренней озабоченностью судьбами Европы и мира. Из бесед с писателями Баварии обнаружилось, что в нравственном и политическом смысле у нас и у них, несмотря на многие различия, немало общего, на котором и следует строить наш диалог и наши общения. Именно такой диалог и общение двух разных систем и содержит в себе то зерно надежды, из которого может прорасти будущее мира без войн и ненависти.

Запись Ирины РИШИНОЙ

1 января 1982 г.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА № 1

ЛИТЕРАТУРА — ЖИЗНЬ МОЯ

Рубрика, которую «ЛГ» открыла в преддверии VII съезда писателей СССР, предполагает размышления известных мастеров слова о времени и о себе, о своей творческой работе в контексте современного литературного процесса, о том, как собственный художественный поиск и личные замыслы соотносятся с сегодняшними задачами многонациональной советской литературы. Рубрика вызвала широкий писательский и читательский отклик. Вот одно из писем:

Дорогая редакция!
Хочется поблагодарить за рубрику «Литература — жизнь моя». Из материалов этой рубрики мы узнали много о писателях, которых любим и читаем, о том, что они думают о литературе и о нас, читателях. Желательно увидеть эту рубрику на страницах «ЛГ» и в 1982 году.

С уважением и наилучшими пожеланиями
ваш читатель, ветеран труда
Л. П. ГАВРИЛОВА

ЗЛАТУСТ Челябинской области

Василь БЫКОВ:

ДОРОГА ПАМЯТИ

КАЗАЛОСЬ бесспорным, что искусство — это средство познания жизни с целью ее совершенствования. Поэтому лучшие произведения всегда будоражили человеческое сознание, лишали человека самоуспокоенности и довольства собой. Мы знаем множество примеров такого рода во все времена. Но справедливости ради следует сказать, что с некоторых пор я весьма часто слышу: искусство все больше становится средством уик-энда, отдыха от трудов или предметом празднества. Понятно и в общем объяснимо нередко высказываемое читательское желание счастливых финалов в наших произведениях. Но вот что касается прозы о войне, то я, например, каждый раз терплю, сталкиваясь с выражением подобных желаний. В таких случаях сам по себе возникает вопрос: что же такое литература? И что такое искусство вообще?

Один уважаемый кинорежиссер в недавней дискуссии в «Литгазете» написал, что человек идет в кино, чтобы развлечься, значит, задача кино — развлечь его, коль оно получило с него 50 копеек за билет. И вот я думаю: книги подорожали, полтинником не обойдешься. Тогда что же, стараться развлекать на рубль? Или на трешку и больше, если это многостраничный роман? Разумеется, я несколько утрирую, но все же не могу отделиться от вопроса: что должна литература? Учит? Пробуждать чувства добрые? Может быть, в занимательной форме средствами беллетристики проповедовать истины, которые в другой, незанимательной форме уже не осваиваются обществом? Чем больше размышляешь над этими и схожими с ними вопросами, столь естественными для людей нашей профессии, тем все больше склоняешься к реальной возможности реалистического искусства: показать человеку человека таким, каков он есть, и пусть он решает сам, каким ему быть. Пусть он сам и выбирает свою судьбу, альтернативность которой в наш ядерный век выражается наряду просто: жить или погибнуть.

Но тут есть один цепетильный вопрос, относящийся именно к этому показу. Говорят, что культура — это память человечества. Это правильно. Все дело, однако, в том, что следует помнить, — ведь человеческая память избирательна, а искусство уже в силу своей природы избирательно тем более. Например, что касается войны, то один ее участник из всего пережитого наиболее ярко запомнил, как его догоняли, хотели убить, но промахнулись, и он до сих пор вскакивает по ночам в холодном поту. Другой — как его награждали орденом, и он спустя годы не перестает

переживать радостное волнение по этому поводу. Третьему не дает покоя случай, когда рассерженное начальство назвало его «дураком», но теперь это слово в устах очень разборчивого на слова начальника звучит для него как «молодец» и заставляет каждый раз улыбаться. Это я говорю о ветеранах, некоторых, конечно, но те же свойства памяти проявляются и у некоторых авторов военных романов.

ПРИХОДИТСЯ слышать иногда от читателей суждения вроде: «Ну сколько можно перелопачивать одно трудное да кровавое, ведь были же на войне и радостные, веселые моменты, и шутка, и смех». И приводят в качестве примера «Василия Теркина». Да, на войне, к счастью, были и веселые, и даже счастливые минуты. И, конечно, высоко ценились юмор, шутка, все, что могло отвлечь солдата от мрачных мыслей, тоски по дому, настрою на оптимистический лад, поднять его боевой дух. Но хочу задать вопрос читателям, желающим избавиться от бремени истинных знаний о прошлой войне: как они думают, почему свое замечательное повествование о Василии Теркине, смелом, решительном, никогда не унывавшем бойце, Твардовский начал публиковать в 42-м, в самый разгар войны, а стихотворение «Я убит подо Ржевом» написал уже после ее окончания, а двумя десятилетиями позже — щемяще-пронзительное «Я знаю, никакой моей вины...»? Почему так, а не наоборот?

Когда я слышу сегодня о книгах про Великую Отечественную, что в них опять «трудное да кровавое», то воспринимаю это не иначе, как выступающее на первый план желание развлечься, пусть даже за счет такой малоподходящей темы, как тема войны. Но ведь во все времена жаждущие развлечений шли на торжища, в скомороший ряд, но никогда — во храм. Боюсь, что смешение жанров и особенно забвение высоких задач литературы грозят уравнивать торжище с храмом. Я не отрицаю, разумеется, ни цирка, ни эстрады, ни так называемых развлекательных программ, у которых свои цели и свои задачи. Но у литературы — иная миссия.

НАСТОЯЩАЯ литература, слава богу, никогда не укладывалась в прокуровское ложе, уготованное ей любителями легкого чтения. Вот и сейчас в наших журналах появились такие произведения о войне, с помощью которых не только не избавишься от бессонницы — от них и вовсе глаз не сомкнешь. Своей беспощадной, горькой правдой они безжалостно разрушают внутренний комфорт, переворачивают всю душу.

жили многое такое, что было неизвестно нашей литературе. На основе собранных документов, воспоминаний можно было написать не одно художественное произведение. Но авторы избрали другой путь — самый правильный, но и самый трудный: оставить для потомков все в первозданном, нетронутым виде. У Адамовича был опыт такого рода работы — книга «Я из огненной деревни», — который, собственно, и дал толчок, помог при создании «Блокадной книги». Огромного смысла и значимости дело сделал Адамович и Гранин, явив пример, который не должен остаться неподхваченным... Хочется надеяться, что этот их труд по созданию бесценного исторического документа, коллективного народного памятника блокаднику, его непреклонности, мужеству, его высокой человечности будет по достоинству оценен нашей общественностью.

Более всего в «Блокадной книге» потрясает дневник 16-летнего Юрия Рабинкина. Он погиб в начале января 1942 года. С первого дня войны и до последнего дня своей жизни он вел дневник, в который записывал, что видел, что думал, что переживал. Мы читаем строки, полные высоких дум и стремлений. А рядом — записи, передающие помыслы иного рода, вызванные постоянным унизительным чувством голода. И мы видим, как голод разрушает человеческую личность и как в то же время дух хорошего, порядочного существа противится этому разрушению. Трагические страницы, равных которым я не знаю в мировой литературе. Трудно что-либо сравнить, всегда получается приблизительно. Но читая дневник ленинградского подростка, вспоминаешь знаменитый «Дневник Анны Франк», а взволновавший в свое время весь мир, переведенный на многие языки, инсценированный и экранизированный. Дневник Юрия Рабинкина несомненно многого свойства. Автор его оказался в условиях, когда люди начинали терять человеческие черты, когда надо было выжить, не утратив при этом человеческого облика. В холодном, голодном, отрезанном от страны городе война расщепляла сознание, медленно вымораживала, выколачивала волю. Только очень сильным духом люди могли сопротивляться, и этот мальчик сопротивлялся из последних сил. Он требовательно и строго наблюдает за собой, без снисхождения стыдит себя за малейшее проявление малодушия, эгоизма, он искренне терзается, что слаб, бессилен, впадает в отчаяние, что из-за него, таного, могут погибнуть мать и сестренка, и готов за их спасение заплатить собственной жизнью. Во многих его записях звучит мысль, что, мол, ничего не сделал и сделать не смогу, потому что слаб. Он не понял, но мы-то сейчас должны понять, что тем самым, что он так бесстрашно анализировал себя, свою жизнь, свои поступки, не давая себе сползти, утратить человеческие качества, и все это передоверил бумаге, чтобы это дошло до нас, — он тем самым свершил свой собственный подвиг.

ВОЙНА — неуходящая тема. Она не может быть уходящей, когда человечество борется против угрозы ядерной катастрофы. Будимо, в ближайшее время наша проза найдет новый аспект в по-



главное для них — как отнесутся к вещи читатели. Да, реакция читателей, безусловно, никого не оставляет равнодушным, автору дорог читательский резонанс, ему важно знать, как принято его произведение. Я уважаю мнение критики, разумеется, критики серьезной, честной, не преследующей конъюнктурных соображений. Когда, скажем, вышла моя последняя повесть «Пойти и не вернуться», я с интересом прочитал в «Литературном обозрении» два мнения о ней — И. Дедкова и И. Золотусского. Но... соглашаясь с концепцией того или другого критика, видя резон в его толковании, что-то принимая из его замечаний, я тем не менее не много извлекаю из его анализа в смысле доработки или переработки произведения. Дело в том, что, как только начинаешь вторгаться в ткань повести, сразу же наталкиваешься на ее скрытое сопротивление автору, который как будто хочет ей изменить и переметнуться в лагерь ее противников. Особенно противостоит изменению идея, как первооснова произведения, имеющая свою автономную логику и, подобно живому организму, активно отторгающая чужое, пусть даже и улучшающее ее вторжение. (В этой связи хотелось бы сказать о том странном чувстве, которое вызывает высказывание Л. Аннинского в его диалоге с ныне покойным Ю. Трифоновым — «Новый мир», № 11, 1981, — его апологетика критического своеволия по отношению к литературному произведению. И дело тут не в естественном праве каждого автора на самовыражение, а именно в критическом своеволии, от которого более чем от чего другого страдала в прошлом наша художественная практика.)

Я ДУМАЮ, что хотя мы и не гениальные писатели, но уж, во всяком случае, как квалифицированные читатели. То есть относительно хорошо знаем жизнь, чтобы разобратся в ее запутанных эмпиреях, и кое-что смыслим в литературе. И тут возникает любопытный парадокс: почему мы, люди, в силу своего воспитания и образа жизни зачастую далекие от проблем «неперспективных» деревень, быта древних стариков и старух, мало-или вовсе неграмотных отшельников в зачастую никогда не виданной нами дремучей тайге, с их размеренным, однообразным и часто примитивным укладом, — почему мы частенько с куда большим интересом и участием читаем об их трудах и заботах или о думах и тревогах скромного железнодорожного рабочего с маленького, затерянного в необозримой степи полустанка, нежели о блестящих научных или служебных успехах тех, кто гораздо нам ближе по опыту жизни, мировоззрению, мироощущению — высокообразованных жрецов науки, искусства, руководителей производства, начальников главков? Почему безграмотный дед из послевоенной деревеньки интереснее много «интеллектуала», озабоченного судьбами народов, в то время как наш дед не может удовлетворительно определить судьбу единственной своей буренки, оставшейся на зиму без сена? О том печаль его, и она нас трогает больше, чем драматические переживания кого-либо из упомянутых мною перед уходом на вполне заслуженный отдых. Почему